

Павел Катаев

## Вид с горы Волошина

Рассказ

В конце прошлого года в Одессе побывал сын Валентина Петровича Катаева – Павел Валентинович. Мой телефон и адрес ему дал литературовед, постоянный автор нашего альманаха Вадим Перельмутер.

Необыкновенно интересно прошел вечер, который Павел Катаев провел у нас. Говорили о литературе, о тенденциях в творческом процессе, об архиве его отца.

Я помню, что Вадим Перельмутер, рассказывая мне о моем госте, говорил: «Он как писатель большой мовист, чем его отец». Естественно, мне захотелось не только прочесть прозу Павла Катаева, но и познакомиться с ней нашего читателя.

И вот присланный рассказ, подаренный нашему альманаху.

Замечательный рассказ.

Евгений Голубовский

Почему надо шептать, а не кричать? Дело в том, что есть люди, которые шепчут, а есть и те, которые кричат.

Есть люди, которые умеют прекрасно сочетать крик и шепот. Но не о них речь.

Шепчущий человек потому и шепчет, что говорит о себе, честно и обстоятельно, не упуская из виду ни одного своего ощущения, взвешивая их (правда, трудновато представить, как это можно ощущения взвешивать – безменом, что ли?) и, что самое главное, абсолютно им доверяя и наделяя незыблемыми полномочиями представлять себя.

Шепчущие люди самодостаточны.

Процент дураков среди них довольно высок.

Теперь о кричащих. Своим криком они заглушают ответные звуки, оставаясь в неведении – достаточны ли их ощущения для того, чтобы считаться общезначимыми, или это всего лишь предощущения, лжеощущения, параощущения и так далее, и тому подобное. Они совсем себе не доверяют, и каждое собственное ощущение пускают в мир, ожидая отклика, резонанса, как, скажем, резонируют струны огромного числа роялей, специально для этой цели собранных в огромном и вполне уютном хорошо освещенном ангаре, при звучании струн главного Рояля (с большой буквы). Тем временем по вымышленному ангару среди резонирующих инструментов разгуливает персонаж, все это вообразивший, и внимательно прислушивается: какой рояль резонирует, а какой глух к вибрации Струн главного Рояля, олицетворяющего единственную и неповторимую человеческую душу. Коэффициент полезного действия крика равен коэффициенту полезного действия паровоза. То есть страшно низок.

Процент дураков среди кричащих еще выше, чем среди шепчущих.

Кстати о паровозе. Не потому ли он так громко кричал по ночам среди зимних морозных пространств, что не верил собственным ощущениям и тем самым отдавался в душах романтиков сладкой тоской, пробуждая стремления к путешествиям, перемещению в пространстве, теплу и морю, и солнцу, и скалам, но – главное – к любви, эти далекие страны составляющей?

Так что – вперед и шепотом. А впереди у нас что? Как раз те самые сотканые из любви таинственные страны.

Станем на точку зрения зимнего ночного прохожего, когда снег скрипит под остекленевшими подошвами, когда гулко трещит сосновый ствол, а чуть поодаль другой и, наконец, совсем далеко, в глубине кладбища – третий, и когда так холодно, что уже и страха не чувствуешь...

В скобках. По возрасту автор не может быть этим ночным прохожим, он им станет лет приблизительно через десять-двенадцать. Сейчас же он пятилетний мальчик и живет зимой на даче. В большом доме лишь одна комната обжита, та, где все спят – бабушка, двоюродный брат и автор. Здесь три кровати, шкаф, круглый стол... (Никакие это не кровати, а лежаки на кир-

пичах.) Кроме того, здесь ящик с песком для кошки – кусок фанеры с набитыми по четырем сторонам рейками-бортиками.

Для кого-то, особенно для сельских жителей того времени, может показаться странным этот кошачий туалет. Зачем? Кошка и в лес сбегает по нужде. Лес-то вот он, достаточно за дверь шмыгнуть. Перед глазами автора до сих пор стоит кошка, замершая в ящике и чуть позже растопыренной лапкой загребающая песок, высыпая его на пол.

Помнится, автор со своим четырехлетним двоюродным братцем, тогда еще живым, пытались развести в ящике костер. Какая-то тряпка очень вонюче и дымно тлела, и кусок бумаги высоко и ярко вспыхнул. Пожар был в самом корне потушен диким бабушкиным криком. Из-под теплого платка (темно-серый, плотный, козьей шерсти) выбились прямые черные волосы. Тогда они еще не были седыми, то есть не то что седыми, а даже единюго белого волоса не было в ее голове. И лицо у бабушки было молодое, точно из кости вырезанное, и глаза были широко раскрыты и глядели в никуда.

Братец с любопытством, открыв рот, смотрел на орущую бабушку своими большими серо-голубыми глазами, опушенными густыми ресницами. Наверное, нельзя было не понять, что бабушкин страшный вопль несет в себе не только страх, даже ужас от происшедшего. Ведь ничего не произошло. Пожар не распространился за пределы кошачьего ящика (можно представить удивление кошки, когда она вернулась из леса домой в туалет...), и вполне возможно, прекратился бы сам по себе, так по-настоящему и не начавшись. Тут угадывался какой-то скрытый смысл, реакция на событие, которое произошло много-много лет назад и глубоко бабушку тронуло...

А паровоз в зимней ночи кричал печально, окликаая автора и вселяя в его свежую душу острое беспокойство.

Ну а вымышленный прохожий, благополучно доживший до наших дней, как о чем-то приятном, теплом думает об оставленном в далеком прошлом (или же далеком будущем, что зависит от точки отсчета) вечере, к описанию которого пришла пора приступать.

В действительности вечер не кажется таким уж теплым. Лето в Крыму на этот момент можно считать не получившимся. Настоящее крымское тепло еще не наступило, и – наступит ли?

Но таинственность и волшебство, конечно же...

Сие произведение, читай – повествование – включает описание доброй сотни людей. Немного больше, немного меньше, но число их крутится возле цифры сто. Пусть страницы будут населены большим количеством людей, и чтобы каждый был услышан, и чтобы речь каждого была слышна, и с каждым что-то происходило.

Итак, вперед!

Он – третий персонаж, ты – второй, мы – первый. Речь идет о трех составных одного, главного, лица, которое смотрит на мир то с одной точки зрения, то с другой, а то и с третьей.

Четвертым оказывается мальчик Гриша, прозванный своей мамой (пятый персонаж) Хомяком. Так вот, после застолья со скудной выпивкой – мальчик, разумеется, не пил – и превосходной рыбой Хомяк вдруг заплакал и на вопрос Марины (шестой персонаж), почему слезы, ответил, всхлипывая:

– Этого никогда больше не будет...

– Чего, маленький, не будет? – участливо спросила Марина, положив на худенькое плечико свою тонкую руку, украшенную браслетами и кольцами.

– Камбалы...

– Ну что ты! Обязательно будет!

– Такого вечера не будет. Всех нас не будет, – настойчиво прошептал мальчик.

У Марины дыхание перехватило.

– Ну что ты, Хомяк! И такой вечер будет, и все мы будем...

Описываемому вечеру предшествовали, как нетрудно догадаться, последовательно сменяя друг друга, утро и день. Тоже не Бог весть какие жаркие, но все-таки лето наступило, и на горе ветер был по-летнему прохладный (то есть не по-зимнему морозный), а не пронизывающе-холодный, как мы могли бы ожидать от столь неудачного лета.

Для нас нет жизни здесь, в этом благословенном крае, без этой горы (с трудом удерживаемся от написания ее с большой буквы).

Поднимаемся на вершину горы и, толком не отдышавшись, пускаемся в обратный путь. Наш взор обращен вниз, на камни под босыми ногами (очень важно, что они босые, хотя от описа-

ния удержимся), на комки сухой почвы, на пучки сухой травы, на ящерицу, мелькнувшую, точно в больном воображении, между камней, на легкую бабочку. Все время приходится смотреть под ноги, и во время подъема, и во время спуска, так что окрест мы оглядываемся считанные разы. Но и мгновенных впечатлений хватает на то, чтобы полностью ощутить себя именно в этой точке пространства и отметить, что обжитое нашей душой место под Солнцем отсюда выглядит чуть иначе, а может быть, и сильно иначе. Это как бы трезвый взгляд со стороны.

Мы смотрим под ноги, но наше воображение уже наполнено до краев могучей картиной – небесной твердью моря, состоящего из сотен, тысяч огромных полей, переходящих одно в другое, мерцающих и дымящихся, ледяных, как айсберг, и знойных, как пустыня, и вся эта поверхность испаряется на далеком-далеком горизонте, которого, собственно, и не видно вовсе. С горы он угадывается, а вернее – мы просто думаем, что он там, а не где-то в другом месте, хотя в действительности это лишь плод наших школьных представлений, и никакого горизонта не существует.

Граница между морем и берегом не столь таинственная. И это вызывает в нас неприятие, побуждает к неконструктивной критике. Соприкосновение естественного и искусственного столь внезапно и столь необратимо, что мы, закусив удила, возмущаемся человеческой бездарностью, соорудившей столь неприглядный и негармоничный волнолом, кривой дощечкой, щепкой, занозой (вид с горы) вонзившейся в прозрачное тело моря, и другие жалкие строения – хижины, ангары, сарайчики и так далее, и тому подобное. Но этого мало. Разгорячившись, мы позволяем себе недоумевать по поводу неряшливой пены божественного прибоя и столь же божественного серого обломка скалы возле берега, который сверху кажется нелепым камешком, вдавленным в плотную бирюзовую белесую поверхность моря...

И этот вырвавшийся из души дух критики распространяется на всю противоположную морской часть ландшафта, занятого горами, долинами, снова горами, покрытыми крепкой растительностью – тут и деревья, и кустарники, и просто трава, – или же ничем не покрытыми, обнаженными, рельефными. И мы даже какое-то время с неприятием думаем об эпатающей форме той

или иной вершины, о слишком уж чрезмерном нагромождении скал, неправильном расположении предыдущей горы, как-то уж совсем неразумно заслоняющей последующую, которую как раз и хотелось бы видеть. И эти глобальные естественные неудачи смиряют нас с наличием искусственных вторжений в природу очаровательных домиков, дорог, даже целиком поселков.

Очаровательных на расстоянии, господа, лишь на расстоянии.

Следует иметь в виду, что пейзаж кажется безлюдным. Но это далеко не так. Начать с того, что мы сами составляем значительную его часть, может быть, и основную. Если же быть откровенными до конца, то мы и есть целиком весь пейзаж, вместе со всеми его значительными и основными частями. Ведь без нашего зрения, нашего отбора, без нашей оценки и без всего нашего остального ни о каком пейзаже не было бы и речи.

Кроме того, он в действительности населен большим количеством людей.

Если в начале повествования упоминается сотня персонажей, с которыми бы хотелось познакомить читателя, то лишь бросив взгляд на самый близкий человеческий сгусток, а именно на домики пионерского лагеря, сокрытые зеленью, мы можем считать свою задачу выполненной и перевыполненной и поставить точку.

Но нет, речь идет о вполне конкретных персонажах. Каждый из них появится здесь во всей своей красе, будь то уже знакомый Хомяк с глазами, вечно наполненными слезами грусти и сожаления (речь идет о вечности детства), или же капитан рыболовного сейнера, суденышка, что точно соринка в глазу мерцает там, под горой, в дымке морского простора.

За капитана его и не принять – помятый, с недельной щетиной... К нему-то Марина и обратилась.

Не знаем, что именно она ему сказала. Мы не были допущены к беседе. Более того, не были допущены и к сейнеру и вынуждены были томиться неподалеку (в самом начале пирса, возле турникета), делая вид, что мы совсем ни при чем, даже незнакомы. Но капитан, мы это видели, благосклонно кивнул, после чего Марина, худая и длинноногая, женщина мечты, перемахнула через деревянный фальшборт и стремительно проследовала за морским волком в надстройку.

Она дрожит (от страха ли, от волнения), но этого нельзя увидеть, это можно только знать, как мы знаем. У нее пальцы дрожат, когда она быстро устраняет иглой какую-нибудь неполадку в одежде ребенка. Сердце дрожит, иногда так сильно, что сбивается дыхание, округляются глаза, и на лице недоумение и испуг, хотя это и не отражает ее внутреннего состояния. Лицо самостоятельно боится за нее.

Вечерний причал и сейнер, скрывший в своих недрах Марину.

Нас не оставляет чувство довольно препротивное, точно мы являемся бессовестным кавалером, который послал свою подругу (в нашем случае – собственную жену) в глухой ночной час на пустынную дорогу ловить такси или попутную машину, а сам притаился на обочине, чтобы водитель не заметил раньше времени. Предполагается, что при виде одинокой девушки в водителе должны проснуться низменные инстинкты. Такие вещи и наблюдать-то со стороны противно, что уж говорить о собственном участии. Однако же...

Спускаясь с горы, мы отметили наличие сейнера в море, никак не думая, что уже сегодня к вечеру он подойдет к причалу и начнет незаконную распродажу прямо с борта своего браконьерского улова. Мы же продолжали спускаться с горы, все силы души направив на то, чтобы сдержать восторг, ликование, радость, готовые, как ядерный заряд, в клочья разнести нашу плоть по атому в окружающем пространстве.

Да, мы поднялись на гору, побывали на ее вершине, подержали ладони на гранитной плите общей могилы поэта и его верной жены, и спускаемся в дальнейшую жизнь обновленные и воодушевленные. Об этом и мечтать-то страшно, а ведь свершилось же!

С горы видно и то, что доступно зрению, – поселки внизу, море, нагромождения обрушившегося кратера потухшего вулкана Кара-Даг и так далее, и тому подобное – и то, что составляет нашу душу, нашу память, и вдруг возникает перед нами (душа замирает) с ощущениями вкуса и запаха. И, самое главное, возникают лица родных нам людей, и мы обращаемся к ним с вопросами, и слышим ответы, ловим на себе их взгляды. И они в этот миг такие же материальные, живые, как ящерица, мелькнувшая в сухой

траве, или медленно взбирающаяся по тропинке нам навстречу босая женщина со стоптанными вьетнамками в руке.

Теперь факты и только факты. Голые факты.

В Балтийском море пароход такой-то (название и порт приписки неизвестны) попал в сильный шторм. Серые волны вставали до самого неба. У многих пассажиров разыгралась морская болезнь, а вот самой бабушке не было плохо. Хотя она страшно боялась, что пароход потерпит крушение и потонет.

Да, господа. Что ни говорите, а Промысел пронизывает и определяет мельчайшую крупицу нашей жизни во времени и в пространстве. Диву даешься, как тонок Промысел, каждый раз готовый помочь тебе, хотя ты и представить не можешь, зачем эта помощь нужна. Вот пример (шепотом, шепотом!). Дважды мы побывали в том опасном месте, где бабушка с детьми и мужем пережила шторм. Первый раз мы видели этот кусок моря из самолета, следующего по маршруту Москва – Лондон и вынужденного приземлиться в промежуточном пункте, а именно в аэропорту Копенгагена, чтобы подождать, пока аэропорт Хитроу освободится от осеннего тумана. Салатного цвета вода, так и сяк вклеенные в ровную поверхность макетики судов, потом того же цвета салатный луг на подлете к аэродрому и стая больших чаек над лугом.

Второй раз по этим водам мы плыли (моряки употребляют глагол «идти», ибо плавает известно что) на сухогрузе из Гамбурга через Кильский канал в Ленинград... Сбились с мысли, не можем сказать, при чем тут Промысел. Наверное, просто... Ну, да ладно, чего зря гадать...

Сохранилась легенда о прибытии парохода с репатриантами в Любек. Речь идет о двадцатых годах нашего приближающегося к концу столетия. На причале в небольшой толпе встречающих возник знакомый. Увидев среди вернувшихся из Англии семейство, он с ужасом зашептал:

– Зачем вы приехали? Уезжайте, пока не поздно!

Сомнения грызут нас: зачем о Промысле говорить, зачем анализировать события, связанные с возвращением в Советскую Россию, даже придавать какое-то значение тому далекому шторму, словно бы тот предостерегал: не возвращайтесь! Хорошень-



кое предостережение. Пароход уже в пути, не повернуть назад, и шторм способен лишь напугать до смерти или погубить. Но уж никак не изменить ситуацию.

Истинным предостережением скорее можно считать пожар в Лондоне. Об этом происшествии никакой легенды не сохранилось, мы сами реконструировали его по косвенным данным, слабому отсвету на краешке едва уцелевшего семейного предания о рутинной поездке в трамвае нашей бабушки с тетей Милей, ее младшей дочерью, за четыре года до того родившейся в Лондоне, по постреволюционной Москве.

Итак, мать и дочь едут куда-то в трамвае. И маленькая девочка что-то говорит с досадой своей маме. В вагоне никто не знает английского, чтобы понять реплику по-нездешнему нарядной девочки-иностранки. Возможно, и моя бабушка не слышит сердитого щебетания дочери, углубленная в свои невеселые мысли, а если и слышит, то не обращает внимания, а если и обращает внимание, то не берет в голову, выбрасывает из памяти и сердца, как мы всегда подсознательно стараемся поступать с чем-то неприятным.

Она смотрит задумчиво в окно, не замечая ни унылой улицы, ни мрачных прохожих, ни заколоченных парадных подъездов. Ее мысли и помыслы пребывают в других местах и временах.

Но в том-то и дело, что Провидение поместило в вагон милого человека, понимающего по-английски.

Теперь только гадать остается, когда произошла эта сцена – до путешествия в Сибирь или после. Если, скажем, до, то можно предположить, что бабушка с замиранием сердца представляла себе тот тайник, в котором было не только спасение, но и оправдание всех невыносимых мытарств. Если же путешествие к тому времени уже состоялось, то бабушкина задумчивость была уже совсем, совсем другого рода...

Глаза у девочки широко раскрыты – серые, перламутровые, с пестрой радужницей, точно перепелиная скорлупка.

– Почему ты не сгорела в Лондоне! – сердито воскликнула она.

– Мила, не выдумывай, пожалуйста, – проговорила бабушка, не поворачиваясь.

– Девочка, почему ты так говоришь? – спросил милый человек.

– Если бы она тогда сгорела в Лондоне, она бы не привезла нас сюда, – живо ответила тетя Миля, доброжелательно глядя на спрашивающего. Ей было приятно, что кто-то посторонний заговорил с ней на ее родном языке.

Вот оно: пожар в кошачьем ящике! Тогда бабушка вспомнила именно о Лондоне. Сгори она в том пожаре, ее маленькие дочери никогда не оказались бы здесь, а следовательно, и нас бы никогда не было на свете. То есть мы, конечно же, были б, но только это были бы уже не мы и, конечно же, не здесь.

Тут и бабушка оторвалась, наконец, от окна и увидела милого человека с внешностью господина, барина – узкое пальто, маленькая шапка-ушанка, а может быть, и аккуратный пирожок из мерлушки. Впрочем, гадать не стоит, тем более что теперь уже (фраза произносится шепотом, то есть без малейшего надрыва) и справиться не у кого.

На всякий случай заметим: бабушка потому смотрела в окно со столь пристальным вниманием, что трамвай ехал по Красной площади, вдоль кремлевской стены. Историки Москвы нас поправят. За что купили, за то и продаем. Разумеется, тогда никакого мавзолея в помине не было, не говоря уже о государственном кладбище, столь неудачно разбитом здесь умными коммунистами.

Господин, улыбаясь, спросил бабушку:

– Вы говорите по-русски?

– Конечно! Я сибирячка, а вот девочка моя родилась в Лондоне. Она пока еще плохо знает русский, но скоро научится.

И по-английски:

– Правда же, Миля?

Девочка раздула ноздри и промолчала, а господин горячо сказал:

– Ну, разумеется. Дети быстро схватывают. А как вы оказались...

Он не успел закончить вопроса. Возможно, бабушке лишь почувдилось, что публика в вагоне вдруг опасно замолкла, притаилась. Бабушка сделала испуганное лицо и прошептала:

– Би квайт...

– Ну, разумеется, – тут же согласился незнакомец.

Увлекая за собой Милю, бабушка протиснулась к выходу.

– Нам выходить.

Незнакомый господин умудрился первым выйти из вагона и помог молодой женщине с ребенком спуститься на землю.

Бабушка не доехала целую остановку (а может быть, и две) до гостиницы «Балчуг», где семья временно проживала, но сочла за благо покинуть враждебный вагон. Незнакомец поступил так же по тем же соображениям. А может быть, ему не хотелось обрывать на полуслове завязавшееся было знакомство с красивой женщиной и ее очаровательным ребенком, столь ярко и образно выразившей свое неприятие окружающей действительности.

И это тихое, умоляющее «би квайт...»

Переведем дух и заметим, что здесь прозвучала заявка на очень важную тему. Вспомните – незнакомцу не хотелось обрывать знакомство с молодой красивой женщиной. Однако продолжения не последовало. Внезапно возникнув, он столь же внезапно исчез, выполнив, однако, свою историческую роль, вызвав у маленькой Мили уже упомянутое восклицание – «Почему ты не сгорела в Лондоне!».

Красота. Была ли бабушка красивой, и что это вообще такое – красивая женщина или красивый мужчина? Об этом мы поразмышляем со временем. Сейчас же, не теряя наката, двинемся дальше и постараемся выяснить побудительные мотивы поступков бабушки и близких ей людей, в первую очередь дедушки, который в действительности был в этой истории главным персонажем. Во всяком случае, мы так считали до настоящего момента, когда вдруг логика произведения заставила нас в этом усомниться.

Кто же главнее – дедушка или бабушка? Всегда же есть чье-то главенство. Кто-то подчиняет и кто-то подчиняется. Легко ли, трудно ли, но все-таки подчиняется. Речь идет не об армейской дисциплине. Увы, бабушка, была главной. «Увы» – потому что ее главенство не пошло семье на пользу. Впрочем... Посмотрим, что там дальше было. То есть не дальше, а прежде.

Легенд, связанных с дедушкой, не так много, как у бабушки. Хотя они и есть. Ну, вот, например, легенда, которая должна убедительно показать любовь дедушки к первому персонажу настоящего повествования, одному из многих его внуков и внучек.

Мы (первый персонаж) лежим в коляске, нам несколько месяцев отроду, наверное, два. Вокруг жаркий летний день. Солнце

проверяет листья на прозрачность, но нет, они не прозрачны, хотя сквозь свежий подмосковный хлорофилл пропускают свет. На черном фоне пронизанные солнечными лучами листья светятся, как фосфорные.

Объяснить бы, откуда черный фон взялся, да нет ни желания, ни пространства. Был бы на нашем месте Гете, великий знаток законов оптики, он бы подвел под эти субъективные ощущения научную базу. Да где он, Гете?

Склонив молодое лицо с небольшим точеным носом, широко расставленными лучистыми глазами, высоким лбом, окаймленным золотисто-рыжими кудрями, дедушка внимательно всматривается в несусветного младенца с личиком старого китайца и решительно прогоняет мохнатую муху, которая ошалело бросается на ребенка, с тем чтобы через какое-то мгновение умчаться прочь и слиться с миром других мух, комаров, пчел, стрекоз, паучков, чешуек, палочек, крупинок, паутинок и прочего, и прочего, наполняющих собой бесконечный, как может показаться, пласт атмосферы, воздуха...

Дедушка смотрит на нас, охраняет от насекомых (больше никто не претендует) и тем самым выказывает любовь к своему внуку.

– Ах, как дедушка, царство ему небесное, тебя любил! (Это мамино восклицание.)

– А я его любил? – поинтересовались мы у мамы.

– Конечно. Еще как. Ты его узнавал и – смеялся...

И есть еще одна легенда, но скорее не дедушкина, а нашего отца. Чтобы дедушка не огорчался, и его большое сердце не страдало, отец запретил домашним сообщать дедушке, что тот лишен пенсии, и каждый месяц давал бабушке определенную сумму, соответствующую этой пенсии. До самой своей скорой (увы) смерти дедушка так и не узнал, что над ним, как и над всеми его товарищами по партии, нависла угроза уничтожения.

Дедушку уничтожил очередной сердечный приступ, в то время как его более здоровые товарищи по партии были выведены из жизни другим образом...

В рассказе о маме, о двух ее сестрах и родителях, бабушке и дедушке красота должна занять подобающее ей место, ибо только

что упомянутые пять персонажей отвечали самым жестким требованиям этого понятия.

Бывает, мы не воспринимаем того или иного человека, мужчину или женщину, красивым, потому что его облик вызывает в нас протест, чувство неприязни.

– Ну, нет! – пылко протестуем мы. – Он (она) совсем не красивый (красивая)! Скорее наоборот...

Но тут вдруг замолкаем, прикусываем язык: врожденное чувство справедливости заставляет нас осесться. Да, человек нам неприятен, даже противен – или чрезмерно черняв, или – по облику – слишком блудлив, или слишком толст, или тонок. Да, в облике угадывается нечто иное, чем выражено фасадом. Да, фасад красив. Но все же...

Думаем, с нашими родственниками такое тоже могло произойти, за красивым фасадом кому-то почудилось уродство. Однако же справедливость не следует терять.

Прошепчем в скобках, что в отношении бабушки мы порой бывали несправедливы и, так сказать, по собственному опыту знаем, как подобная несправедливость имеет возможность закрасться в душу кому угодно. И мы готовы простить такую несправедливость. И готовы превозмочь ее. И заявить: «Наша бабушка красива!».

Промелькнувший в трамвайном эпизоде персонаж воспринял бабушку как безукоризненную красавицу с костяным личиком, ясными глазами, столь же перламутровыми, как и у младшей дочери, и с толстой коричневой, почти черной, косой ниже талии...

Не знаем, какого точно роста был дедушка. Очевидно (если это вводное словцо можно употребить в данном контексте), не очень высокого. Но и лилипутом не был. А вот бабушка была маленького роста, и дочери ее были маленькие, с точеными фигурками, с прекрасными пропорциями, как у Дюймовочки, и это продолжалось до тех пор, пока они не растолстели.

Какие были еще легенды, связанные с дедушкой?

Жизнь его – для нас, во всяком случае, – как бы скрыта дымовой завесой, которая время от времени чуть-чуть редееет, и в образовавшиеся окошки можно рассмотреть какие-то более или менее реальные очертания событий.

Детство и юность он провел в городе Люблине (Царство Польское) в доме владельца скорняжной мастерской, где меховые шапки шились. Здесь, в этой мастерской, он и работал мальчиком на побегушках, что-то вроде еврейского Алеши Пешкова. Неважненькое детство. Неудивительно, что бедный еврейский юноша подался в революцию, связался с бундовцами.

Сквозь очередное окошко различается мощный двор казармы царской армии в Люблине. Беготня, поиски, возможно, выстрелы. И вот уже трое злоумышленников в лапах полиции, из-за пазухи выпадают листовки и прокламации революционного содержания. Было ли что-то чрезвычайное в распространении революционных листовок? Нет, конечно же. Частенько такое случалось. Но для дедушки (он в числе схваченных) это жизнь, судьба.

После Октября открылись какие-то там архивы, и стало ясно, что один из трех арестованных бунтарей-бундовцев оказался стукачом. Он и навел полицию на казарму, где молодые люди занимались революционной деятельностью. Благодаря той скотине дедушка и оба его товарища по партии (в том числе и сам скотина) были осуждены и отправлены сначала в первопрестольную на отсидку в Бутырки, а затем, через несколько лет, на каторгу в Сибирь.

Неизвестно, что со стукачом после разоблачения случилось – легенды не сохранилось. Единственное, что доподлинно известно, так это то, что родственникам стукача, пока он якобы томился в одиночке, а потом гнил на сибирской каторге (на самом деле он в это время околачивался где-то в других местах), помогали революционеры, и поэтому их жизнь не была такой ужасной.

Что же касается дедушки, то он, отбыв каторгу и перейдя на поселение, познакомился с бабушкой, молодые люди полюбили друг друга и поженились.

Упомянем город Пензу, куда в скором времени беременная бабушка переехала из родного Тобольска к своей старшей сестре Кате. Там, в губернаторском доме, в назначенный срок появилась на свет Божий первая из трех ее дочерей.

Все это, конечно, не более чем легенда. Нам, например, трудно представить, чтобы губернатор, такой важный чиновник цар-

ской администрации, взял в жены еврейскую девушку. Советский склад ума не принимает этого без особых объяснений. Например, таких. Он женился в молодости, пока еще не достиг столь больших чинов. (Возникает вопрос: женившись на еврейке, достиг ли бы он их?) Или же еврейская девушка Катя была достаточно богатой, чтобы заставить избранника закрыть глаза на ее происхождение. А может быть, чем черт не шутит, у порядочных людей вообще не возникало ни малейших препятствий для того, чтобы сочетаться браком с любимым человеком. «Какие бы неожиданности не скрывал в себе пятый пункт», – добавим от себя.

А между тем наш государственный преступник, отец новорожденной, отбыл за границу. Куда? Разумеется, в Париж.

Небольшой комментарий. Дедушка действительно был подмастерьем, мальчиком на побегушках, однако в революционную борьбу впал от чего угодно, но только не от нищеты и бесправия, и уж тем более не как жертва эксплуатации. Хозяин процветающего дела, родной дедушкин дядя, по просьбе своего брата, дедушкиного отца, взялся «сделать из племянника человека», приобщить к профессии. А дедушкин отец после смерти жены (дедушкиной мамы) переехал в Париж. Там он вторично женился, и теперь готов был принять непутевого сынишку после его революционных походов.

Тут, пожалуй, к месту вспомнить современный анекдот про еврея, который собрался через государственную границу ныне покойного Советского Союза тайно проскользнуть на Запад. Еврей добрался до последней пяди земли, оставался последний маленький шаг. Вдруг окрик советского пограничника:

– Стой! Кто идет?

И немедленный ответ:

– Уже никто никуда не идет!

Что же касается нашего дедушки, то не следует думать, будто бы он, обманув царских ищеек, с наклеенными усами и в чужой одежде куда-то там тайно пробирался. Его не окликали из пред-рассветной тьмы, а в польском городке Вержболово на границе с Австро-Венгерской монархией цивилизованно проверили самый настоящий паспорт, купленный для него покровителями, и преспокойно выпустили из «тюрьмы народов».

«...Вержболово. Что ново здесь, то там не ново». (Из тогдашнего фольклора.)

У бабушки переход границы годом позже не был столь безмятежен. Она убежала не от государства, а от семьи, которая после отъезда дедушки вздохнула было с облегчением: пусть он там живет, нашу дочь и внучку в свои делишки не впутывает. Да не тут-то было: любовь! На австрийскую сторону из Царства Польского бабушку переводил в глухой ночной час старый поляк-проводник по ему одному ведомой тропинке. Главной трудностью была грудная девочка тетя Лена, которая громко плакала, нарушая хрупкую приграничную тишину.

Бабушка рассказывала, что проводник требовал уgomонить младенца. «А то все пропадет...» Ничего не пропало, и бабушка с тетей Леной оказалась через какое-то время в объятиях любимого мужа в Париже на улице Риволи. Здесь перед войной (первой) родилась средняя сестра, наша мама.

И снова – в прошлое. В какое? В далекое... Впрочем, далеких прошлых несколько. Какое из них? Пусть снова будет дедушкино далекое прошлое, хотя бы тот летний денек, когда он зашел за нашей мамой в музыкальную школу после уроков, и по зеленым московским улицам и переулкам они отправились домой.

Какие у нас есть основания думать, что описываемый денек именно летний? Ведь летом школы не работают. Будем считать, что дело происходило в конце весны или в начале лета, когда уже достаточно зелени появляется в городе. Хотя, возможно, уже и осень наступила – теплая, солнечная, зеленая. В нашей московской континентальности и такое случается.

Когда они зашагали вдоль глухой стены, дедушка сказал, что здесь он несколько лет провел в одиночке.

– Где – здесь?

– В тюрьме.

– В какой тюрьме?

– За этой стеной. В Бутырках.

Вот как жизнь складывается. Дедушку запрятали сюда году в пятом или шестом, ну, может быть, седьмом, за революционную деятельность на территории Российской империи. Теперь двадцатые перевалили середину, и дедушка, промыкавшись,



промаявшись в столице новой страны, Советской России, с новой властью и совсем, совсем другим жизненным укладом, ведет свою дочь из музыкальной школы домой, где его ждет бабушка с двумя остальными дочерьми – младшей и старшей. Наша мама средняя.

Мама оторопела от ужаса, излучаемого глухой стеной. Это чувство готово поглотить девочку, парализовать, наполнив собой, своей омерзительной субстанцией. Однако нечто не позволяет ужасу сделать это, сдерживает, отгоняет, и это нечто – теплое сильное излучение добра, исходящее от дедушки, в груди которого трепещет и нехорошо поворачивается больное сердце, и рука, крепко сжимающая детские пальчики, холодная, почти ледяная, снова теплеет, оживает...

Все горькое прошлое и настоящее отступает, и дедушка (тогда еще не имевший внуков) радостно думает: «Я живу, вокруг тепло и зелено, рядом любимые».

Ну вот, пожалуй, и все, что можно рассказать о дедушке. Умер он за два месяца до начала войны (нашей войны), не сумев оправиться от обширного инфаркта. Окажись он на Лубянке вместе со своими более здоровыми коллегами политкаторжанами-бундовцами, он бы там отдал Богу душу, так что «славные» чекисты года три-четыре ему подарили.

– Здравствуйте, – тихо произносит босая женщина. Вот она равняется, взглядывает открыто и продолжает трудный подъем.

– Добрый день, – отвечаем мы.

Да, она – реальность, а все то – сладкая музыка, прилетевшая из космоса.

Теперь – к Марине.

Как описать ее? Это подвластно лишь какому-нибудь великому мастеру.

Яркое пятно среди зелени, пестрая коктебельская хламида, скрывающая сидящую по-восточному молодую женщину с пушистой головой, как бы в густом парике, с нежным лицом и большими тревожными глазами, точно бы вобравшими в себя из пространства любовь и теперь излучающими ее. Сидя на корточках возле водопроводного крана (вода течет обильно, еще не наступила настоящая жара, и водохранилища не пересохли), Марина

разделяет камбалу, которую ей же удалось выманить у осторожного браконьера. Идет подготовка к пиру.

О нем уже упоминалось. Помните мальчика Гришу?

– Ну, вот, снова я... Все я... Только я. Ну почему, почему вечно я, я, я!!!

Она сердится, и к ней не подойти, хотя она и требует, чтобы к ней подходили и помогали.

Но вот пища приготовлена, мы сидим под старой софой за шатким столом, кто на шаткой скамейке, кто на шатких стульях. Овощи, зелень, грубые куски нежнейшей рыбы. Есть и выпивка, но, Боже мой, какая! Агонизирующее государство впало в очередной раз в борьбу с пьянством, да ничего не получилось, только виноградники повырубили и настроение людям изрядно испортили. Вместо легкого крымского вина или, на худой конец, традиционной водки приходится пить коньячный спирт, что тяжелой ношей ложится на наше пошатнувшееся здоровье.

Описываемый отрезок южного лета – холодный отрезок.

Полный месяц над Святой горой холодный. Невидимое море дышит холодом. И редкие огоньки во тьме холодные. Всем теснящимся вокруг стола участникам пирушки – описанным и не описанным персонажам настоящего произведения – весело. А мальчик Гриша по прозвищу Хомяк – грустный, как и вся окружающая природа. Он шепчет:

– Этого никогда больше не будет...

И глотает слезы.

